

ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

А. И. ГЕРЦЕН

Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 6. С того берега. Статьи. Долг прежде всего. 1847-1851. М., 1955.

VII

OMNIA MEA MECUM PORTO¹

Ce n'est pas Catilina qui est & vos portes — c'est la mort!²
Proudhon (Volx du Peuple)

Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen sie nicht balsamicren³.

Goethe

Видимая, старая, официальная Европа не спит — она умирает!

Последние слабые и болезненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтоб удержать на несколько времени распадающиеся части тела, которые стремятся к новым сочетаниям, к развитию иных форм.

По-видимому, еще многое стоит прочно, дела идут своим чередом, судьи судят, церкви открыты, биржи кипят деятельностью, войска маневрируют, дворцы блестят огнями — но дух жизни отлетел, на сердце у всех неспокойно, смерть за плечами, и, в сущности, ничего не идет. В сущности, нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда — все превратилось в полицию. Полиция хранит, спасает Европу, под ее благословением и кровом стоят троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживают жизнь, чтоб выиграть настоящую минуту. Но разъедающий огонь болезни не потушен, его вогнали только внутрь, он скрыт. Все эти почерневшие стены и твердины, которые, кажется, своей старостью приобрели всегдашность скал, — ненадежны; они похожи на пни, долго остающиеся после порубки леса, они хранят вид упорной несокрушимости до тех пор, пока их не толкнет кто-нибудь ногой.

¹ Все свое несу с собой (лат.) — *Ред.*

² Не Катилина у ваших врагов, а смерть! (фр.) — *Ред.*

³ Иди сюда, сядем за стол! Кого же встревожит такая глупость? Мир разлагается, как гнилая рыба, мы не станем его бальзамировать (нем.) — *Ред.*

Многие не видят смерти только потому, что они под смертью воображают какое-то уничтожение. Смерть не уничтожает составных частей, а развязывает их от *прежнего* единства, дает им волю существовать при иных условиях. Разумеется, целая часть света не может согнуться с лица земли; она останется так, как Рим остался в средних веках; она разойдется, распустится в грядущей Европе и потеряет свой теперешний характер, подчиняясь новому и с тем вместе влияя на него. Наследство, оставленное отцом сыну, в физиологическом и гражданском смысле, продолжает жизнь отца за гробом; тем не менее, между ними *смерть* — так, как между Римом Юлия Цезаря и Римом Григория VII⁴.

Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения.

Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец. Как ни Тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях и везде находили вблизи перст смерти, и только изредка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надеялись, верили, старались верить. Предсмертная борьба так быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, как последние свечи в окнах прежде рассвета. Мы были поражены, испуганы. Сложив руки мы смотрели на страшные успехи смерти. Что мы видели с февральской революции?.. Довольно сказать, мы были молоды два года тому назад и стары теперь.

Чем ближе мы подходили к партиям и людям, тем пустыня около нас делалась больше, тем больше становились мы одни. Как было делить безумие одних, бездушие других? Тут лень, апатия, там ложь и ограниченность — силы, мощи нигде; разве у нескольких мучеников, умерших за людей, не принеся им никакой пользы; у нескольких страдальцев, распинающихся за толпу, готовых отдать кровь, голову и принужденных бегать то и другое, — видя хор, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные без дела в этом мире, который рушился со всех сторон, оглушенные безмысленными спорами, ежедневными оскорблениями, — мы предавались горю и отчаянию, нам хотелось одного — сложить где-нибудь усталую голову, не справляясь о том, есть ли сновидение или нет.

⁴ С другой стороны, между Европой Григория VII, Маргина Лютера, Конвента, Наполеона — не смерть, а развитие, видоизменение, рост; вот отчего все попытки античных реакций (Бранкалеоне, Риензи) были невозможны, а монархические реставрации в новой Европе так легки.

Но жизнь взяла свое, и вместо отчаяния, вместо желания гибели я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя в такой зависимости от мира, не хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающего вечным плакальщиком.

Неужели в нас самих совершенно ничего нет и мы только и были чем-нибудь — этим миром, в нем, — так что теперь, когда он, попорченный совсем иными законами, гибнет, нам нет другого занятия, как печально сидеть на его развалинах, другого значения, как служить ему надгробным памятником?

Довольно грустить. Мы отдали миру, что ему принадлежало, мы не скупились, отдав ему лучшие годы наши, полное сердечное участие; мы страдали больше него его страданиями. Теперь оботрем слезы и будем мужественно смотреть на окружающее. Что бы нам, наконец, ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастье — несчастье оконченное. Мы успели ознакомиться с нашим положением, мы ни на что не надеемся, ничего не ждем или, пожалуй, ждем всего; это сводится на одно. Нас может многое оскорбить, ело- мать, убить; удивить — *ничего*... или все наши думы и слова были только на губах.

Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с опасностью были надежды; теперь положение ясно, корабль не может быть спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля, на лодки, бревна — пусть каждый пытается свое счастье, пробует свои силы. Point d'honneur⁵ моряков нам не идет.

Вон из душной комнаты, где оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдем на чистый воздух из тяжелой, заразной атмосферы; на поле из больничной палаты. Много найдется мастеров бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживут на счет гнили. Оставим им труп, не потому, что они хуже или лучше нас, а потому, что они этого хотят, а мы не хотим, потому что они в этом живут, а мы страдаем. Отойдем свободно и бескорыстно, зная, что нам нет наследства, и не нуждаясь в нем.

В старые годы этот гордый разрыв с современностью назвали бы *бегством*; неизлечимые романтики и теперь после всего ряда событий, совершившихся перед их глазами, назовут это так.

Но свободный человек не может бежать, потому что он зависит только от своих убеждений и больше ни от чего; он имеет право оставаться или идти, вопрос может быть не о бегстве, а о том, свободен ли человек или нет?

Сверх того, слово «бегство» становится невыразимо смешно, обращенное к тем, которые имели несчастье заглянуть дальше, уйти вперед больше, нежели надобно другим, и не хотят воротиться. Они могли бы сказать людям а la Goriolan: «Не мы бежим, а вы отстаете», но то и другое

⁵ Долг чести (фр). — *Ред.*

нелепо. Мы делаем свое, люди, окружающие нас, — свое. Развитие лица и масс делается так, что они не могут взять всей ответственности на себя за последствия. Но известная степень развития, как бы она ни случилась и чем бы ни была приведена, — обязывает. Отрекаться от своего развития — значит отречься от самих себя.

Человек свободнее, нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя ей. Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, стоит понять ее и не выпускать из рук. Понявши, люди допускают окружающий мир насиловать их, увлекать против воли; они отрекаются от своей самобытности, опираясь во всех случаях не на себя, а на него, затягивая крепче и крепче узы, связующие с ним. Они ожидают от мира всего добра и зла в жизни, они надеются на себя на последних. При такой ребяческой покорности роковая сила внешнего становится непреодолимой, вступить с нею в борьбу кажется человеку безумием. А между тем грозная мощь эта бледнеет с того мгновения, как в душе человека вместо самоотвержения и отчаяния, вместо страха и покорности возникает простой вопрос: «В самом ли деле он так скован на жизнь и смерть со средою, что он и тогда не имеет возможности от нее освободиться, когда действительно с нею распался, когда ему ничего не нужно от нее, когда он равнодушен к ее дарам?»

Я не говорю, чтоб этот протест во имя независимости и самобытности лица был легок. Он недаром вырывается из груди человека, ему предшествуют или долгие личные испытания и несчастья, или те тяжелые эпохи, когда человек тем больше расходится с миром, чем глубже его понимает, когда все узы, связующие его с внешним, превращаются в цепи, когда он чувствует себя правым в противоположность событиям и массам, когда он осознает себя соперником, чужим, а не членом большой семьи, к которой принадлежит.

Вне нас все изменяется, все зыблется, мы стоим на краю пропасти и видим, как он осыпается; сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не является на небе. Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в обществе, — если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасти мир, спасти себя, вместо того, чтоб освободить человечество, себя освободить, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека.

Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку

последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянут участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды.

Но тут в самом образе отражения является его самобытность. Противодействие, возбуждаемое в человеке окружающим, — ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так как полон противоречия. Нравственная независимость человека — такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, с тою разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь со средою теснее, тем больше среда поглощает лицо. Так инстинкт, без сознания, не достигает истинной независимости, а самобытность является или как дикая свобода зверя, или в тех редких судорожных и непоследовательных отрицаниях той или другой стороны общественных условий, которые называют преступлениями.

Сознание независимости не значит еще распадение со средою, самобытность не есть еще вражда с обществом. Среда не всегда относится одинаковым образом к миру и, следственно, не всегда вызывает со стороны лица отпор.

Есть эпохи, когда человек свободен в *общем деле*. Деятельность, к которой стремится всякая энергическая натура, совпадает тогда со стремлением общества, в котором она живет. В такие времена — тоже довольно редкие — все бросается в круговорот событий, живет в нем, страдает, наслаждается, гибнет. Одни натуры, своеобразно гениальные, как Гете, стоят поодаль, и натуры, пошло бесцветные, остаются равнодушными. Даже те личности, которые враждуют против общего потока, также увлечены и удовлетворены в настоящей борьбе. Эмигранты были столько же поглощены революцией, как якобинцы.

В такое время нет нужды толковать о самопожертвовании и преданности, — все это делается само собою и чрезвычайно легко. — Никто не отстывает, потому что все верят. Жертв, собственно, нет, жертвами кажутся зрителям такие действия, которые составляют простое исполнение воли, естественный образ поведения.

Есть другие времена — и они всего обыкновеннее — времена мирные, сонные даже, в которые отношения личности к среде *продолжаются*, как они были поставлены последним переворотом. Они не настолько натянуты, чтоб лопнуть, не настолько тяжелы, чтоб нельзя было вынести, и, наконец, не настолько исключительны и настойчивы, чтоб жизнь не могла

восполнить главные недостатки и сгладить главные шероховатости. В такие эпохи вопрос о связи общества с человеком не так занимает. Являются частные столкновения, трагические катастрофы, вовлекающие в гибель несколько лиц; раздаются титанические стоны скованного человека, но все это теряется бесследно в учрежденном порядке, признанные отношения остаются забытыми, покоятся на привычке, на человеческом беспечье, на лени, на недостатке демонического начала критики и иронии. Люди живут в частных интересах, в семейной жизни, в ученой, индустриальной деятельности, судят и рьят, воображая, что делают дело, усердно работают, чтоб устроить судьбу детей; дети, с своей стороны, устраивают судьбу своих детей, так что существующие личности и настоящее как будто стираются и признают себя чем-то переходным. Подобное время продолжается до сих пор в Англии.

Но есть еще и третьего рода эпохи, очень редкие и самые скорбные, — эпохи, в которые общественные формы, переживши себя, медленно и тяжело гибнут; исключительная цивилизация достигает не только высшего предела, но даже выходит из круга возможностей, данных историческим бытом, так, что, по-видимому, она принадлежит будущему, а в сущности равно отрешена от прошедшего, которое она презирает, и от будущего, развивающегося по иным законам. Вот тут-то и сталкивается лицо с обществом. Пршедшее является как безумный отпор. Насилие, ложь, свирепость, корыстное раболепство, ограниченность, потеря всякого чувства человеческого достоинства становятся общим правилом большинства. Все доблестное былого уже исчезло, дряхлый мир сам не верит в себя и отчаянно защищается, потому что боится, из самосохранения забывает своих богов, попирает ногами права, на которых держался, отрекается от образования и чести, становится зверем, преследует, казнит, и между тем сила остается в его руках; ему повинуются не из одной трусости, но из того, что с другой стороны все шатко, ничего не решено, не готово — и главное, что люди не готовы. — С другой стороны, незнакомое будущее восходит на горизонте, покрытом тучами, — будущее, смущающее всякую человеческую логику. Вопрос римского мира разрешается христианством, религией, с которой свободный человек гибнущего Рима как же мало имел связи, как с политеизмом. Человечество, для того чтоб двинуться вперед из узких форм римского права, отступает в германское варварство.

Те из римлян, которые от тягости жизни, гонимые тоской, страхом, бросились в христианство, спаслись; но разве те, которые не меньше страдали, но были тверже характером и умом и не хотели спастись от одной нелепости, принимая другую, достойны порицания? Могли ли они с Юлианом Отступником стать за старых богов или с Константином за новых? Могли ли они участвовать в современном деле, видя, куда идет дух времени? В такие эпохи свободному человеку легче одичать в отчуждении от людей,

нежели идти с ними по одной дороге, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ее.

Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? Да разве ум нуждается другой поверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение?

Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены, и превосходно сделали. Они рассеялись по берегам Средиземного моря, пропали для других в безмолвном величии скорби, но не пропали для себя — и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, что, собственно, они были победителями, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человека, его достоинства. Они были *люди*, их нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду — и не хотели лгать, а не имея с ним ничего общего — отошли.

А что у нас общего с миром, нас окружающим? Несколько лиц, связанных с нами одними убеждениями, три добродетельных человека Содомы и Гоморры, они в том же положении, как мы, они составляют протестующее меньшинство, сильное мыслию, слабое действием. Кроме них, у нас с современным миром не больше деятельной связи, как с Китаем (я на сию минуту опускаю физиологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже в тех редких случаях, когда люди произносят одни и те же слова с нами, они их понимают розно. Хотите ли вы *свободы* монтаньяров, *порядка* законодательного собрания, египетского устройства работ коммунистов?

Теперь все играют с раскрытыми картами, и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибаться нельзя — на каждом клочке Европы та же борьба, те же два стана. Вы ясно вполне чувствуете, против которого вы; но чувствуете ли вы так же ясно связь вашу с другим станом — как отвращение и ненависть к первому?..

Время откровенности пришло, свободные люди не обманывают ни себя, ни других, всякая пощада ведет к чему-то ложному, косому.

Прошедший год, чтоб достойно окончиться и исполнить меру всех нравственных оскорблений и пыток, представил нам страшное зрелище: борьбу *свободного человека с освободителями человечества*. Смелая речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимая ирония Прудона возмутила записных революционеров не меньше консерваторов, они напали на него с ожесточением, они стали за свои предания с неподвижностью легитимистов, они испугались его атеизма и его анархии, они не могли понять, как можно быть свободным без государства, без демократического правления; они с удивлением слушали безнравственную речь, что республика для людей, а не лица для республики. И когда у них недостало ни логики, ни красноречия, они объявили Прудона подозрительным, они его предали революционной анафеме, отлучая от православного единства

своего. Талант Прудона и зверство полиции спасли его от клеветы. Уже гнусное обвинение в предательстве ходило из уст в уста демократической черни, когда он бросил свои знаменитые статьи в президента, который не нашел лучшего ответа, оглушенный ударом, как теснить колодника, запертого за мысль и слово. Видя это, толпа примирилась.

И вот вам крестовые рыцари свободы, привилегированные освободители человечества! Они боятся свободы; им надобен господин для того, чтоб не избаловаться, им нужна власть, потому что они не доверяют себе. Мудрено ли после того, что горсть людей, переселившаяся с Кабе в Америку, едва устроилась во временных шалашах, как все неудобства европейской государственной жизни обличились в их среде?

При всем этом *они* современнее нас, полезнее нас, потому что ближе к делу; они найдут больше сочувствия в массах, они нужнее. Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими, — 3 это их главная потребность. К личной свободе, к независимости слова они равнодушны; массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет; боясь монополий и привилегий, они косо смотрят на талант и не позволяют, чтоб человек не делал того же, что они делают. Массы желают социального правительства, которое бы управляло и ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим — им и в голову не приходит. Вот отчего *освободители* гораздо ближе к современным переворотам, нежели всякий *свободный человек*. Свободный человек может быть вовсе ненужный человек; но из этого не следует, что он должен поступать против своих убеждений.

Но, скажете вы, надобно себя умерить. Сомневаюсь, чтоб из этого вышло что-нибудь; когда человек и весь отдается делу, он не много производит, что же он сделает, когда намеренно отнимет половину своих сил и органов? Посадите Прудона министром финансов, президентом, он будет Бонапартом в другую сторону. Этот находится в беспрестанном колебании, нерешительности, оттого что он помешан на императорстве. Прудон будет также в постоянном недоумении, потому что существующая республика ему столько же противна, как Бонапарту, а республика социальная теперь гораздо менее возможна, нежели империя.

Впрочем, тот, кто, чувствуя внутреннее несогласие, хочет или может откровенно участвовать в бою партий; у кого нет потребности идти своей дорогой, видя, что дорога других идет не туда; кто не думает, что лучше заблудиться, совсем пропасть, нежели уступить свою истину, — тот пусть действует с другими. Он даже сделает очень хорошо, потому что нет чего другого, а освободители рода человеческого стащат вместе с собою в пропасть старые формы монархической Европы; я признаю право столько

же желающему действовать, сколько и желающему отстраниться; на то будет его воля, и об этом у нас не идет речи.

Я очень рад, что коснулся этого смутного вопроса, пой самой прочной цепи из всех, которыми человек скован, — самой прочной потому, что он или не чувствует ее насилия, или, еще хуже, признает ее безусловно справедливой. Посмотрим, не перержавела ли и она?